

Творчество колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса хорошо известно советским читателям. В издательстве «Прогресс» готовится новый сборник произведений писателя. Сегодня мы публикуем беседу с ним и рассказ, о котором Маркес упоминает в своем интервью.

— Ваши произведения очень популярны в Советском Союзе. Недавно были опубликованы роман «Осенняя патриарха» и книга рассказов «Незабываемый день в жизни Бальтасара». Как вы лично воспринимаете эту популярность?

— Разумеется, признание читателей доставляет большое удовольствие. Однако в Латинской Америке и в целом на Западе случается, что слава в один прекрасный момент начинает не только утомлять, но и мешать. Она превращает человека в персонаж для развлечения публики, который не имеет ничего общего с тобой таким, каков ты на самом деле. Тем не менее я нашел «применение» своей популярности: поскольку мое имя в Латинской Америке достаточно известно, я решил, что могу использовать его в кампаниях солидарности в борьбе против реакции. В этом смысле я сумел извлечь из славы нечто полезное. В противном случае — зачем она?

Слава и успех могут сыграть негативную роль в любом возрасте. Что касается меня лично, то я бы не возражал, если бы мои произведения принесли мне славу посмертно — тогда бы меня не превращали в товар. К сожалению, молодежь иногда думает не столько о работе, сколько о славе. Я бы хотел сказать молодым писателям, чтобы они не теряли времени зря и не писали в расчете на критиков: гораздо важнее писать самому, чем служить предметом, о котором пишут другие.

— Вам хотелось бы встретиться с советскими читателями?

— В августе я собираюсь приехать в Советский Союз на кинофестиваль, и мне будет очень приятно встретиться с теми, кто читает меня в вашей стране. Я знаю, что читателей много, потому что мои книги публикуются не только на русском, но и на различных национальных языках Советского Союза.

Вы сказали, что собираетесь приехать на кинофестиваль. В связи с этим вопрос:

## ПОРТРЕТ НА ФОНЕ НОВОЙ КНИГИ:

Габриэль ГАРСИА МАРКЕС

## ИНТЕРВЬЮ «ЛГ»

# «Я НЕ ИЗМЕНИЛ СВОЕГО РЕШЕНИЯ»

наково ваше отношение к кинематографу? Мы знаем, что вы готовите фильм «Вдова Монтель» вместе с чилийским режиссером Мигелем Литтинном. Как идет работа? Вы всегда, кажется, интересовались кино, так же, кстати, как и журналистикой...

— Видите ли, я всегда говорил, что мои отношения с кино подобны отношениям в плохом браке; мы не можем жить ни вместе, ни порознь.

Я всегда хотел сам сделать фильм, но мне так и не удалось создать такой, какой я хотел. Сейчас я с Мигелем Литтинном работаю над экранизацией рассказа «Вдова Монтель». Это история вдовы, которая никогда не подозревала о связи ее мужа с реакционными властями. Не знала, что он разбогател, используя свои связи в правительственных кругах, не гнушаясь прибегать даже к политическому насилию.

Надеюсь, что фильм будет хороший, потому что режиссер не связан условиями коммерческого кинематографа. Нам удалось финансировать ленту с помощью средств, собранных среди друзей и прогрессивных деятелей. А это значит, что мы сможем работать так, как нам хочется. К тому же Мигель Литтинн, как, наверное, знают советские читатели, — прекрасный режиссер.

Что касается журналистики, то она помогла мне установить тесный контакт с реальностью жизни и научила меня писать. Творческая работа, фантазия придали моим журналистским

выступлениям литературные достоинства. Мои поиски не ограничили овладением определенной литературной техникой, а помогли мне созреть политически. Начальный период моего творчества совпадает с тем периодом в жизни Колумбии, который определяется одним словом: «насилие». Совпадает он также и со временем, когда у меня появились более ясные и серьезные политические убеждения. После «Палой ливень» я думал, что рассказами об Аракате моего детства я могу отгородиться от необходимости смотреть в лицо действительности. Сразу скажу: это было ложное впечатление.

К тому периоду относятся мои вещи «Полковнику никто

не пишет», «Недобрый час» и «Похороны Великой Мамы»; в этих трех произведениях есть много общего. Все они написаны по-журналистски. Потом я понял, что произведения о моем детстве носят более политический характер и более связаны с колумбийской социальной действительностью, чем я думал раньше.

Закончив «Недобрый час», я не писал ничего целых пять лет. Чего-то мне не хватало, а вот чего именно, я не знал. Наконец, я понял, что мне не хватает верного тона. А тон этот — его я использовал потом в романе «Сто лет одиночества» — оказался тем самым, каким рассказывала мне свои истории моя бабушка. Она говорила о

вещах, казавшихся фантастическими, абсурдными, как о чем-то совершенно естественном. Поняв, наконец, какого тона мне следует придерживаться, я сел за письменный стол и проработал восемнадцать месяцев без перерыва...

— Последнее время в газетах некоторых стран гласились сообщения, будто бы вы отказываетесь от литературной прозы в пользу политического репортажа. Это объясняют тем, что вы хотите быть в центре политических событий и не считаете сегодня возможным писать «просто беллетристику». Не изменились ли ваши намерения?

— Нет. Решение не писать больше прозу я принял около трех лет назад в связи с событиями в Чили. Тогда я заявил публично, что не буду писать литературных произведений до тех пор, пока не падет Пиночет. Во-первых, я поступил так потому, что считал это литературной забастовкой, целью которой было оказать влияние на моих читателей в Латинской Америке, побудить их выразить свою солидарность с чилийским сопротивлением. Во-вторых, я считал, что переворот в Чили и то, что затем произошло в Аргентине и Уругвае, требуют от человека гораздо больших усилий в борьбе с этими режимами. Тогда я подумал, что время, которое у меня уходит на литературу, лучше было бы использовать для политического репортажа — гораздо более полезного жанра в тех чрезвычайных обстоятельствах, какие сло-

жились в Латинской Америке.

Я не изменил своего решения. Пока Пиночет стоит у власти, я не буду публиковать никаких художественных произведений. Однако это не значит, что я ничего не пишу. Книгу рассказов я опубликую буквально на следующий день после падения Пиночета.

— Как идет работа над книгой о Кубе?

— Я рассчитывал написать простой, скромных размеров репортаж, но сейчас вдруг увидел, что мой репортаж превращается в большую, сложную книгу. Правда, меня это не тревожит, ибо все мои произведения разрастались и усложнялись прямо на глазах...

— Какова, по вашему мнению, наиболее характерная черта современного латиноамериканского романа?

— Роман в каждой стране имеет, естественно, свои особенности. На мой взгляд, главная и общая черта романа в странах Латинской Америки — это поиски собственного, неповторимого лица.

В заключение интервью Габриэль Гарсиа Маркес сказал:

— Мне очень приятно, что «Литературная газета» обратилась к моему творчеству в дни своего пятидесятилетия. Желаю газете новых успехов, а ее читателям — неотъемлемого интереса к литературе, призванной и способной изменять мир к лучшему.

Беседу вел Л. НОВИКОВ  
МЕХИКО

граждала мужу путь. «Это не человек, а зверь, — говорила она. — Используя свои связи в правительстве, добейся, чтобы эту бестию перевели от нас в другое место — ведь он не оставит в городке в живых ни одного человека». И Хосе Монтель, у которого в те дни дел и так было выше головы, отстранял ее, даже не взглянув, и говорил: «Перестань идиотничать». На самом деле заинтересован он был не столько в смерти бедняков, сколько в изгнании богачей. Этим последним алькальд дрыгал пулями и назначал срок, в течение которого те должны были уехать из городка, и тогда Хосе Монтель скупал у них скот и землю за гроши — по цене, которую сам же и назначал. «Не будь простодушней, — говорила ему жена. — Ты разоришься, помогая им, и хотя только тебе они будут обязаны тем, что не умерли на чужбине от голода, благодарности от них ты все равно никогда не дождешься». И Хосе Монтель, у которого теперь не оставалось времени даже на то, чтобы улыбнуться ее наивности, отстранял жену и говорил: «Иди к себе в кухню и не приставай ко мне больше».

Так меньше чем за год была ликвидирована оппозиция, и Хосе Монтель стал самым богатым и могущественным в городке человеком. Он отправил дочерей в Париж, выхлопотал для сына должность консула и занялся окончательным упорядочением своей власти. Но плоды преступившего все пределы и законы богатства наслаждаться ему пришлось меньше шести лет.

После того, как исполнилась первая годовщина его смерти, вдова, слыша скрип лестницы, твердо знала, что скрипит она под тяжестью очередной дурной вести. Приносили их всегда под вечер. «Опять разбойники, — говорили вдове. — Вчера угнали пятьдесят голов молодняка». Кусая ногти, она сидела неподвижно в калчке и ничего не ела — единственной пищей ей служило отчаяние. «Я предупреждала тебя, Хосе Монтель, — повторяла она, обращаясь к покойному, — от жителей этого городка благодарности не дождешься. Ты еще не успел остыть в своей могиле, а уже все от нас отвернулось».

В дом никто больше не приходил. Единственным человеком, которого она видела за эти бесконечные месяцы дождя, все лившего и лившего не переставая, был добросовестный и неутомимый сенyor Кармайкл, всегда заходивший в дом с раскритым зонтиком. Дела не поправлялись. Сенyor Кармайкл уже написал несколько писем сыну Хосе Монтелья. В них он намекал, что было бы как нельзя более кстати, если бы тот приехал и взял ведение дел в свои руки; сенyor Кармайкл позволил себе даже выразить некоторое беспокойство по поводу здоровья его матери. Но ответы на эти письма были уклончивы. В конце концов сын Хосе Монтелья откровенно признался: не возвращается он из страха, что его могут убить. Тогда сенyor Кармайкл был вынужден подняться к вдове и сообщить ей, что она находится на грани полного разорения.

— Не совсем так, — возразила она. — Сыра и мух мне девать некуда. Берите себе все, что вам может пригодиться, а мне дайте умереть спокойно.

После этого разговора единственным, что связывало ее с внешним миром, остались письма, которые она писала дочерям в конце каждого месяца. «На этом городке лежит проклятие, — убежденно писала она им. — Не возвращайтесь сюда никогда, а обо мне не беспокойтесь: чтобы быть счастливой, мне достаточно знать, что вы счастливы». Дочери отвечали ей по очереди. Их письма были всегда веселые, и чувствовалось, что писали их в теплых и светлых помещениях и что каждая из девушек, если остановится, задумавшись, видит себя отраженной во многих зеркалах. Дочери тоже не хотели возвращаться. «Здесь цивилизация, — писали они. — А там, у вас, условия для жизни неблагоприятные. Невозможно жить в дикой стране, где людей убивают из-за политики». На душе у вдовы, когда она читала эти письма, становилось легче, и после каждой фразы она одобрительно кивала головой.

Как-то раз дочери написали ей о мясных лавках Парижа. Они рассказывали, как режут розовых свиней и вешают туши у входа в лавку, украсив их венками и гирляндами из цветов. В конце почерком, не похожим на почерк дочерей, было приписано: «И представьте себе, самую большую и красивую геоидику свиньи засовывают в зад». Прочитав эту фразу, вдова Монтелья улыбнулась, впервые за два года. Не гася в доме свет, она поднялась к себе в спальню и, прежде чем лечь, повернула электрический вентилятор к стене. Потом, достав из тумбочки около кровати ножницы, рулончик липкого пластыря и четки, она заклеила себе воспалившийся от обкусывания большой палец правой руки. После этого она начала молиться, но уже на второй молитве переложила четки в левую руку: через пластырь зерна плохо прощупывались. Откуда-то издали доносились раскаты грома. Вдова заснула, уронив голову на грудь. Рука, которая держала четки, сползла по бедру вниз, и тогда она увидела сидящую в патио Великую Маму\* — на коленях у нее была расстелена белая простыня и лежал гребень. Вдова Монтелья спросила ее:

— Когда я умру?

Великая Мама подняла голову:

— Когда у тебя начнет неметь рука.

Перевел с испанского Ростислав РЫБКИН

\* Великая Мама — главное действующее лицо известного рассказа Маркеса «Похороны Великой Мамы», опубликованного на русском языке в сборнике «Недобрый час» («Молодая гвардия», № 1978). Великая Мама упоминается также в романе «Сто лет одиночества».

КОГДА дон Хосе Монтель умер, все, кроме его вдовы, почувствовали себя отомщенными; но лишь через несколько часов люди говорили, что умер он в самом деле. И даже после того, как в душной, жаркой комнате в закругленном и желтом, как большая дыня, гробу увидели на подушках и льняных простынях тело Монтелья, многие все равно продолжали сомневаться в его смерти. Он был чисто выбрит, в белом костюме, обут в лакированные туфли, и, глядя на него, можно было подумать, что он сейчас живет, чем когда-либо прежде. Это был тот же дон Хосе Монтель, который по воскресеньям слушал в восемь часов мессу, только вместо стека в руках у него теперь было распятие. И только когда привинтили крышку гроба и поместили его в роскошной семейной спальне, весь городок поверил наконец, что дон Хосе Монтель не притворяется мертвым.

После погребения все, кроме вдовы, продолжали удивляться только тому, что умер Хосе Монтель естественной смертью. Люди были убеждены, что он погибнет от пуль, выпущенных ему в спину из засады, однако жена всегда была уверена, что он, исповедавшись, тихо умрет от старости в своей постели, словно какой-нибудь современный святой. Ошибалась она разве что в нескольких деталях. Хосе Монтель умер в гамаке в одну из сред в два часа пополудни, и причиной его смерти явилась вспышка гнева, ему строго противопоказанного. Но супруга ожидала также, что на похороны придет весь городок и в доме не хватит места для цветов. Пришли, однако, лишь члены одной с ним партии и церковные конгрегации, а венки были только от муниципалитета. Его сын, консул в Германии, и две дочери, живущие в Париже, прислали телеграммы по три страницы каждая. Чувствовалось, что писали их стоя, обычными чернилами, и изорвали множество бланков, прежде чем сумели набрать слов на двадцать долларов. Приехать не обещал никто. Ночью после похорон, рыдая в подушку, на которой еще недавно покоилась голова человека, сделавшего ее счастливой, шестидесятидвухлетняя вдова Монтелья впервые узнала, что такое отчаяние. «Закроюсь в комнате навсего, — думала она. — И так меня будто положили в один гроб с Хосе Монтельем. Не хочу больше знать ничего об этом мире». И мысли ее были искренни.

Эта хрупкая женщина с душой, зараженной суевериями, а двадцать лет вышедшая по воле родителей замуж за единственного претендента, которого подпустили к ней меньше чем на десять метров, до этого никогда не вступала в прямое соприкосновение с действительностью. Через три дня после того, как из дома вынесли тело ее мужа, она, хотя и плакала не переставая, поняла, что нужно что-то делать; однако решить, по какому пути должна пойти теперь ее жизнь, она не могла. Все нужно было начинать сначала.

Среди бесчисленных тайн, которые Хосе Монтелья унес с собой в могилу, оказалась и комбинация цифр, открывавшая его сейф. Решением этой проблемы занялся алькальд. Он распорядился вынести сейф в патио и поставить у стены, и двое полицейских, приставляя дула своих винтовок к замку, начали в него стрелять. Все утро в спальню вдовы доносились, чередуясь с громкими приказами алькальда, глухие выстрелы. «Только этого мне не хватало, — думала она, — пять лет молить бога, чтобы стрельба прекратилась, с сейчас благодарить его за то, что стреляют у меня в доме». В тот же день, попытавшись сосредоточиться, она стала звать смерть, но ответа не услышала. Вдова уже начала засыпать, кгда дом до самого основания сотряс взрыв: чтобы вскрыть сейф, пришлось использовать динамит.

Вдова Монтелья вздохнула. Казалось, что октябрь с его дождями и сыкостью не будет конца, и она, плавая без руля и ветрил по скажочному, пришедшему теперь в упадок имению Хосе Монтелья, чувствовала себя потерянной. Управление имуществом взял на себя сенyor Кармайкл, дряхлый и добродушный слуга семьи. Когда наконец вдова Монтелья набралась мужества и взглянула все-таки в лицо факту, что ее муж мертв, она вышла из спальни и занялась домом. Она убрала прочь все, что веселило глаз, надела темные чехлы на мебель и украсила вешешки на стенах портреты умершего траурными бантами. За два месяца, истекавших со дня похорон, у нее появилась привычка грызть ногти. Однажды (глаза у нее теперь были все время красные и опухшие) вдова увидела, что сенyor Кармайкл, входя в дом, не закрыл зонта.

— Закрой свой зонт, сенyor Кармайкл, — сказала она. — После всех бед, которые на нас свалились, нам еще только не хватало, чтобы вы заходили в дом с открытым зонтиком.

Сенyor Кармайкл, по-прежнему не закрывая, поставил зонт в угол. Это был старый негр с лоснящейся черной кожей и в белом костюме, а в туфлях у него, чтобы не давило на мозоли, ножом были прорезаны дырочки.

— Так скорее высохнет.

Впервые со смерти мужа вдова открыла окно.

— Столько бед, и ко всему еще эта зима, — прошептала она, кусая ногти. — Похоже, что дождь никогда не кончится.

— Во всяком случае, не в ближайшие дни, — сказал управляющий. — Прошлой ночью мозоли так и не дали мне заснуть.

Вдова Монтелья не сомневалась в способности мозолей сеньюра Кармайкла предсказывать атмосферные явления. Она окинула взглядом безлюдную и небольшую городскую площадь, безлюдные дома, чьи обитатели так и не открыли дверей, чтобы увидеть похороны Хосе Монтелья, и почувствовала, что ее ногти, ее необозримые земли и унаследованные



Рисунок В. СКРЫЛЕВА

Габриэль ГАРСИА МАРКЕС

# Вдова Монтелья

ею от мужа бесчестные обязательства, в которых ей никогда не разобраться, довели ее до последней грани отчаяния.

— Как уродлив мир! — прорыдала она.

Тем, кто навещал ее в эти дни, она давала много оснований думать, что потеряла рассудок. На самом же деле таким ясным, как теперь, разум ее не был никогда. Новые массовые убийства по политическим мотивам еще не начались, а она уже стала проводить пасмурные октябрьские утра, сидя у окна своей комнаты, жалея мертвых и думая, что, не пожелай бог отдохнуть в день седьмой, у него было бы время сделать мир более совершенным.

— Ему надо было воспользоваться тем днем, тогда бы в мире не было столько недоделок, — говорила она. — В конце концов, для отдыха у него оставалась вечность.

Для нее со смертью мужа не изменилось ничего, за одним-единственным исключением: прежде, при его жизни, для мрачных мыслей у нее была причина.

В то время как вдова Монтелья чахла, снедаемая отчаянием, сенyor Кармайкл пытался предотвратить катастрофу. Дела шли из рук вон плохо. Освободившись от страха перед Хосе Монтельем, путем террора захватившим в округе монополию на всю торговлю, городок теперь мстил. В ожидании покупателей, которые так и не появлялись, в огромных кушинах, нагроможденных в патио, прокисло молоко, бродил в бурдюках мед и тучнели черви, обжираясь сыром на темных полках кладовой. Хосе Монтелья в своей спальне с электрическим освещением и архангелами под мрамор теперь получал сполна за шесть лет убийств и произвола. Никому за всю историю страны не доводилось так разбогатеть за столь короткое время. До того, как в городок приехал первый алькальд, назначенный диктатором, Хосе Монтелья был осматриваемым сторонником всех прежних режимов и половину жизни проводил, сидя в трусах у дверей своей крупорушки. Одно время его даже считали человеком, во-первых, вежливым, а во-вторых, благочестивым, потому что он обещал во всеуслышание если выиграет в лотерею, пожертвовать церкви статую своего тезки, святого Иосифа, в человеческий рост, и две недели спустя, получив шестикратный выигрыш, выполнил свое обещание. Обутым его впервые увидели в день, когда прибыл новый алькальд, сержант полиции, нелюбимый левша, получивший приказ окончательно ликвидировать оппозицию. Хосе Монтелья начал с того, что стал его тайным осведомителем. Этот скромный коммерсант, спокойный толстяк, не вызывавший в людях ни малейших подозрений, подходил к своим политическим противникам по-разному, в зависимости от того, богатые они или бедные. Бедных полиция расстреливала на площади. Богатым давали двадцать четыре часа на то, чтобы они покинули городок. Планируя бойню, Хосе Монтелья проводил целые дни, запершись с алькальдом в своем невыносимо душном кабинете, а его супруга в это время оплакивала мертвых. Когда алькальд выходил из кабинета, она пре-